РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ТОМАС НИДЕРВАЛЬД

Театр Дороти Кенсингтон

ГРИМ, КОТОРЫЙ НЕ СМЫВАЕТСЯ

Роман-сказка в четырёх частях



РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСТОРИИ · КНИГА 5 ·
ЛОНДОН · 1868

12+

Томас Нидервальд

Театр Дороти Кенсингтон. Грим, который не смывается

«Автор»
2026

Нидервальд Т.

Театр Дороти Кенсингтон. Грим, который не смывается / Т. Нидервальд — «Автор», 2026

Декабрь 1868 года. В театр мисс Кенсингтон нанимается клоун, у которого не смывается грим. Через три недели в Саутварке не смеётся ни один ребёнок из тех, кто был на репетициях, а старый билетёр поёт песню, которую пели за кулисами Друри-Лейн сорок пять лет назад. Роман о мальчике, которому запретили смеяться, и о смехе, который нельзя украсть, а можно только отдать.

© Нидервальд Т., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Пролог. Друри-Лейн, 1823 5
Часть первая. Пантомима 10
Глава первая. Театр на Стрэнде 11
Глава вторая. Труппа 14
Интерлюдия. Два обморока в Белгрейвии 17
Глава третья. Человек с белым лицом 20
Глава четвёртая. Шары 24
Интерлюдия. Сорок пять лет 27
Конец ознакомительного фрагмента. 28

Томас Нидервальд
Театр Дороти Кенсингтон.
Грим, который не смывается

Пролог. Друри-Лейн, 1823

В Королевском театре Друри-Лейн в декабре тысяча восемьсот двадцать третьего года было сто сорок восемь человек труппы, одиннадцать лошадей, медведь, три дрессированные собаки, четыреста газовых рожков, восемь тысяч костюмов в подвале и один мальчик, которому запрещено было смеяться.

Мальчика звали Джоуи Пипер. Ему было двенадцать лет.

Его нашли в одиннадцатом году на ступенях церкви Святого Джайлса-в-Полях, в корзине из-под капусты, — завёрнутым в старую театральную афишу, где крупными буквами было напечатано: «ДЖОУИ. ВЕЛИЧАЙШИЙ КЛОУН АНГЛИИ». Приходские попечители, не мудрствуя, назвали его Джоуи. Фамилию дали по корзине — на ней было выжжено «Пипер, зеленщик, Сент-Джайлс». Так часто давали фамилии подкидышам в Лондоне: по мешку, по корзине, по улице, по дню недели. В работном доме Святого Джайлса было два Понедельника, три Воскресенья и одна девочка по фамилии Ступенька.

В девять лет Джоуи продали. Не по-настоящему — в Англии детей не продают, — а «отдали в учение». За пять фунтов, которые попечители заплатили клоуну по фамилии Скарлетт, чтобы тот взял мальчика к себе на семь лет, кормил, одевал и учил ремеслу. Это было обычное дело. Работные дома каждый год отдавали в учение сотни детей — трубочистам, ткачам, сапожникам, морякам, — и платили за это хозяевам, а не наоборот. Чтобы избавиться.

Скарлетт был клоун. Не великий — великий был один, Джозеф Гримальди, которого вся Англия звала просто «Джоуи», и от которого всех клоунов Англии с тех пор зовут «джоуи». Скарлетт был второй. Вечно второй. При Гримальди в Друри-Лейн, в Сэдлерс-Уэллс, в Ковент-Гардене. Он подавал Гримальди сосиски, которые тот крал. Он подставлял спину, через которую тот прыгал. Он получал от Гримальди по голове, и зал хохотал — над Гримальди. Скарлетта никто не помнил.

Это сделало Скарлетта злым.

* * *

Он сделал из Джоуи «маленького клоуна». Это была его собственная выдумка, и он ею гордился: на сцене, рядом с большим клоуном, появлялся крошечный — в таком же трико с ромбами, с таким же белым лицом, с таким же красным ртом до ушей, — и повторял за ним всё. Как тень. Большой клоун падал — маленький падал тоже. Большой крал сосиску — маленький крал сосиску у большого. Большой получал по голове — маленький получал тоже, по той же голове, той же палкой, только меньше.

Публика хохотала. Мальчик был смешной — тощий, рыжий, лопоухий, с огромными серьёзными глазами на белом лице. Он не играл. Он просто делал, что велят. С таким серьёзным, таким сосредоточенным лицом, что это было смешнее любой игры.

Но у Скарлетта было правило.

— Клоун не смеётся, — говорил он. — Клоун смешит. Запомни, щенок. Клоун, который смеётся на сцене, — это не клоун. Это зритель, который залез на сцену без билета. Засмеёшься — шкуру спущу.

И спускал. Ремнём. В подвале, после спектакля. Каждый раз, когда Джоуи на сцене — не выдержав, когда Гримальди в очередной раз садился в торт или падал в бочку, — прыскал. Один раз. Тихо. В кулак.

Скарлетт слышал. Скарлетт всегда слышал.

К двенадцати годам Джоуи Пипер разучился смеяться. Совсем. Он забыл, как это делается. Он стоял за кулисами и смотрел, как Гримальди творит чудеса, — и видел, что это смешно, и понимал, что это смешно, и чувствовал внутри что-то, что поднималось, как пузырь в воде, — но пузырь не доходил до горла. Застревал. Где-то в груди. И лопался там, тихо, никому не слышно.

* * *

В декабре тысяча восемьсот двадцать третьего года Джозеф Гримальди был болен.

Ему было сорок четыре года, и он был стариком. Тридцать пять лет он падал, прыгал, кувыркался, получал по голове, садился в торты и проваливался в люки — и тело его этого больше не выдерживало. У него болели суставы, спина, сердце. Он почти не мог ходить. Он выходил на сцену, опираясь на трость, и только за кулисами, в последнюю секунду, отбрасывал трость — и выбегал к рампе прыжком, как молодой. Зал ревел. А потом, за кулисами, он садился на ящик, и его трясло, и он плакал от боли. Тихо. Чтобы никто не видел.

Джоуи видел.

Однажды вечером — это было двадцатого декабря, за шесть дней до премьеры новой пантомимы, — мальчик сидел за кулисами на сундуке с костюмами, а рядом, на ящике, сидел великий Гримальди. Один. Без грима. Седой, с лицом, изрезанным морщинами, как старая карта. Он держал руку на груди и тяжело дышал.

Мальчик смотрел на него.

— Что, малыш? — сказал Гримальди. Голос у него был тихий, хриплый. — Смотришь на старого Джоуи? Не похож?

— Нет, сэр, — сказал Джоуи Пипер.

— На сцене — похож, а тут — нет?

— Да, сэр.

Гримальди засмеялся. Тихо. Морщины на его лице сложились иначе — и вдруг стали видны те, другие, весёлые, которые прячутся под грустными.

— Это потому, малыш, что на сцене я дарю, — сказал он. — А тут — у меня ничего не осталось. Всё раздарил. — Он помолчал. — Скарлетт тебе говорит — клоун не смеётся?

— Да, сэр.

— Скарлетт дурак, — сказал Гримальди. Просто. — Клоун смеётся, малыш. Не над собой. Не над залом. Вместе с залом. Смешить — это дарить. А кто дарит — тому и самому достаётся. Вот я тридцать пять лет дарю — а смеюсь до сих пор. Хоть и больно. — Он закашлялся. — Запомни.

Джоуи запомнил. Он запомнил каждое слово. Но смеяться всё равно не мог.

* * *

Двадцать шестого декабря, в Боксинг-дэй, давали премьеру.



Подвал под сценой Друри-Лейн. Декабрь 1823 года

Новая пантомима. «Арлекин и Снежная фея». Гримальди — Клоун. Скарлетт — второй клоун. Джоуи — маленький клоун, тень Скарлетта. В кордебалете — двадцать девочек-снежинок, от семи до двенадцати лет, в белых пачках из марли, с серебряными звёздами на головах.

Самой маленькой снежинке было восемь лет. Её звали Дороти Кенсингтон. Она была рыжая, веснушчатая и танцевала хуже всех, но улыбалась лучше всех. Её мать была костюмершей в подвале Друри-Лейн, и девочка выросла среди восьми тысяч костюмов, как другие дети растут в саду.

Дороти дружила с Джоуи Пипером. То есть — она с ним дружила. Он — не знал, как это делается. Но она приносила ему за кулисы то яблоко, то горбушку, то кусок пирога, который мать давала ей с собой. Садилась рядом на сундук. И болтала. Обо всём. О принцах, о феях, о том, что, когда вырастет, станет Коломбиной и у неё будет свой театр, с колоннами, «как у настоящего храма, только деревянными, но так, чтобы с той стороны улицы не отличить».

Джоуи слушал. Он не отвечал. Но он ждал, когда она придёт. Он сам не знал, что ждёт.

В Боксинг-дэй, перед премьерой, она принесла ему апельсин.

Настоящий. Оранжевый. Из Севильи. Пахнущий солнцем. Ей дала его мать, а матери — какая-то актриса из лож, на Рождество. Дороти не съела. Она принесла Джоуи.

— С Рождеством, — сказала она и сунула апельсин ему в руки. — Это тебе. Подарок. Ты ведь никогда не получаешь подарков, да?

Джоуи смотрел на апельсин. Он был тёплый — Дороти держала его за пазухой.

И Джоуи Пипер улыбнулся.

Не смеялся — нет. Улыбнулся. Первый раз за три года. Под белым гримом, под красным нарисованным ртом — улыбнулся настоящим ртом. Чуть-чуть. Уголками.

Дороти увидела. Она захлопала в ладоши.

— Ты улыбнулся! — закричала она. — Джоуи! Ты улыбнулся!

* * *

На премьере, во втором акте, Гримальди садился в торт.

Это был его коронный номер. Огромный бутафорский торт, из картона и крема, — Гримальди убегал от полисмена, оглядывался, не видел торта, — и садился в него. С размаху. Крем

— во все стороны. И лицо — то самое, великое лицо Гримальди, — лицо человека, который понял, на что сел.

Зал ревел.

А Джоуи, стоявший за Скарлеттом в двух шагах от торта, — Джоуи засмеялся.

Он не хотел. Он не собирался. Это просто вышло. Пузырь, который три года застревал в груди, — дошёл до горла. Может быть, из-за апельсина. Может быть, из-за того, что Дороти сказала «ты улыбнулся». Может быть, потому, что Гримальди в торте был — правда — самое смешное, что Джоуи видел в жизни. Он засмеялся. Громко. Звонко. Мальчишеским смехом, тонким, как колокольчик. На весь Друри-Лейн.

И зал засмеялся вместе с ним. Ещё громче. Потому что маленький клоун, тень, серьёзный, белый, лопоухий, — хохотал, держась за живот, — и это было смешнее, чем торт.

Гримальди обернулся из торта и посмотрел на мальчика. И подмигнул. «Вот, — сказали его глаза. — Вот, малыш. Дари».

А Скарлетт не обернулся. Скарлетт слышал. Скарлетт всегда слышал.

* * *

После спектакля Скарлетт отвёл Джоуи в подвал.

Не бил. Он был пьян — он всегда был пьян после премьер, — и бить ему было лень. Он просто толкнул мальчика в угол подвала, где стояли сундуки с костюмами, и сказал:

— Засмеялся. При всём зале. Испортил мне номер. Теперь все говорят — маленький смешнее большого. — Он сплюнул. — Ночуешь здесь. Без ужина. Без одеяла. Подумай, кто тут клоун.

И ушёл. Запер дверь.

В подвале Друри-Лейн, в Боксинг-дэй тысяча восемьсот двадцать третьего года, был мороз. Подвал не топили — топили сцену и ложи, а подвал, где хранились костюмы, держали холодным, чтобы не завелась моль. Ночью ударило десять градусов. Вода в бочке у двери замёрзла.

Джоуи забрался в сундук с костюмами. Большой, дубовый, обитый железом. Там было мягко — бархат, шёлк, перья, марля. Он закопался в них, как мышь в солому. Свернулся. Прижал к груди апельсин — он не съел его, он хотел съесть его утром, на Рождество, которое было вчера, но всё равно, — и закрыл глаза.

Ему было холодно. Ему было хорошо. Он засмеялся сегодня. Первый раз. При всех. И Гримальди подмигнул.

Он лежал в сундуке, с апельсином, и думал: завтра я засмеюсь ещё. И послезавтра. И буду смеяться всегда. Как Гримальди. Даже когда больно.

К утру он замёрз.

* * *

Нашёл его вызывальщик — мальчишка на побегушках у режиссёра, который бегает по гримёркам и кричит «Ваш выход!». Его звали Натаниэл Пим, ему было двадцать пять лет, и он пришёл в подвал за костюмом для утренней репетиции. Открыл сундук. И увидел.

Мальчик лежал среди бархата и перьев, в белом гриме, с красным нарисованным ртом до ушей. Свернувшись. С апельсином у груди. Лицо — под гримом — спокойное. Даже, если присмотреться, — улыбающееся. Чуть-чуть. Уголками.

Натаниэл Пим закрыл сундук и пошёл к Гримальди.

Гримальди пришёл. Опираясь на трость. Посмотрел. Долго. Потом сел на соседний сундук и заплакал — вслух, по-стариковски, как плачут клоуны, когда их никто не видит.

Скарлетта выгнали из Друри-Лейн в тот же день. Гримальди потребовал. Через год Скарлетт умер в канаве у Сэдлерс-Уэллс, пьяный. Никто не пришёл на похороны.

Гримальди сыграл ещё несколько раз и ушёл со сцены навсегда. Говорят, на прощальном вечере, в двадцать восьмом году, он сказал публике: «Я дарил вам смех тридцать пять лет. Теперь отдаю обратно». Говорят, в зале плакали.

Джоуи Пипера похоронили на кладбище Святого Павла в Ковент-Гардене. За счёт театра. В той самой афише — «ДЖОУИ. ВЕЛИЧАЙШИЙ КЛОУН АНГЛИИ», — в которой его нашли на ступенях. Её нашли в сундуке, под бархатом. Он хранил её двенадцать лет.

Апельсин положили с ним.

А восьмилетняя Дороти Кенсингтон, рыжая снежинка, — плакала три дня. Потом перестала. Потом выросла. Потом стала Коломбиной. Потом — хозяйкой театра на Стрэнде, с колоннами, «как у храма, только деревянными». Потом забыла.

Почти забыла.

А по ту сторону инея — там, где живут все, кто замёрз в Лондоне, — маленький рыжий клоун в белом гриме сидел на серебряном сундуке и ждал. Сорок пять лет.

Он засмеялся один раз в жизни. Перед самым концом. И не успел научиться.

Часть первая. Пантомима

Это и есть театр.

мисс Дороти Кенсингтон

Глава первая. Театр на Стрэнде

Королевский малый театр Кенсингтон на Стрэнде был должен всем.

Он был должен домовладельцу — за помещение, сорок фунтов за полгода. Газовой компании — за четыреста рожков в зале и на сцене, двадцать два фунта. Плотнику — за новые декорации к прошлогодней пантомиме, восемнадцать. Костюмерше с Лонг-Эйкра — за бархат, шёлк и марлю, тридцать один. Типографу — за афиши. Свечнику — за свечи в фойе. Кондитеру с Флит-стрит — за бутафорские торты, которые клоун разбивал каждый вечер и которые, по контракту, должны были быть настоящими, «чтобы крем летел правдиво». Устричной лавке по соседству — за устрицы, которые мисс Кенсингтон ела каждый вечер после спектакля, потому что, говорила она, без устриц нет театра.

Всего — двести шестнадцать фунтов. Мисс Кенсингтон знала эту цифру наизусть. Она складывала её каждое утро в постели, прежде чем встать, — и каждое утро цифра была та же или больше.

И каждое утро она вставала, надевала рыжий парик, втыкала в него страусовое перо, затягивалась в лиловое бархатное платье с золотыми пуговицами, пудрила нос и шла в театр. И говорила всем, кто попадался по дороге, — швейцару, кебмену, торговцу устрицами, полисмену на углу, — трубным голосом, на весь Стрэнд:

— Доброе утро! Сегодня у нас аншлаг!

Аншлагов не было три года.

* * *

Мисс Дороти Кенсингтон было пятьдесят три года.

Я рассказывал о ней во второй книге — в той, где Снежную королеву играла сирота Джейн Пеннингтон, а под балконом сидел человек в серых перчатках. Я говорил тогда, что она носит рыжий парик, потому что свои волосы давно поседели, а седая Коломбина — это уже не пантомима, а трагедия. Что у неё голос как труба, потому что она начинала в балаганах на ярмарках. Что её театр стоит между лавкой гравёра и устричной и что колонны у него деревянные, выкрашенные под мрамор так, что с другой стороны улицы не отличить.

Я не говорил тогда — потому что тогда этого не знал, — откуда у неё эти колонны.

Она придумала их в восемь лет. В подвале Друри-Лейн. Сидя на сундуке с костюмами рядом с тощим рыжим мальчиком в белом гриме, которому было запрещено смеяться. Она сказала ему: «Когда я вырасту, у меня будет свой театр. С колоннами, как у храма. Только деревянными. Но так, чтобы с той стороны улицы не отличить». И мальчик не ответил. Но слушал.

Она забыла этот разговор. Почти забыла. Она забыла мальчика — его лицо, его имя, его серьёзные глаза. Помнила только, что где-то в детстве, в подвале, на сундуке, был кто-то, кому она рассказывала про колонны.

А колонны — построила.

* * *

Театр на Стрэнде она купила в пятьдесят шестом году, на деньги, оставленные ей одним старым поклонником — лордом, имени которого она никогда не называла, «из уважения к его вдове». Купила — и тут же заложила, чтобы отремонтировать. Ремонтировала — и тут же заняла, чтобы поставить первый спектакль. Первый спектакль провалился — и она заняла снова, чтобы поставить второй. Второй прошёл хорошо — и она потратила всё на третий. Третий — провалился.



Королевский малый театр Кенсингтон на Стрэнде

И так двенадцать лет.

Театр жил, как живёт всякий маленький лондонский театр: от премьеры до премьеры, от займа до займа, от рождественской пантомимы до рождественской пантомимы. Пантомима кормила весь год. Пантомима — это было святое. В Рождество Лондон шёл в театр всей семьёй, от бабушки до младенца, и платил — за галёрку шесть пенсов, за партер два шиллинга, за ложу гинею, — и смеялся, и плакал, и шёл снова, на второй день, на третий, до самой Двенадцатой ночи. Если пантомима удалась — театр жил до следующего Рождества. Если нет — закрывался.

Три года подряд пантомимы у мисс Кенсингтон не удавались.

Не то чтобы проваливались. Нет. Зал был полон — почти. Смеялся — почти. Хлопал — почти. Но в газетах писали: «Мило». «Добротно». «Для семейного просмотра». А о пантомиме в Друри-Лейн писали: «Гениально!» «Великий клоун!» «Лондон рыдает от смеха!» И Лондон шёл в Друри-Лейн. А к мисс Кенсингтон — те, кому не досталось билетов.

Мисс Кенсингтон знала почему.

— Клоун, — говорила она по вечерам, сидя в своей гримёрке над устрицами. — Всё дело в клоуне. Без клоуна пантомима — как пудинг без изюма. А у меня — Брэгг.

Мистер Брэгг был её клоуном двенадцать лет. Он был толстый, добрый, старательный, шестидесяти лет, и он падал, крал сосиски, садился в торты и получал по голове — честно, усердно, по контракту, — и зал смеялся. Вежливо. Как смеются над дядюшкой, который за рождественским столом рассказывает анекдот, слышанный всеми уже десять раз.

В ноябре тысяча восемьсот шестьдесят восьмого года мистер Брэгг поскользнулся на льду у Ковент-Гардена и сломал ногу в двух местах. Доктор сказал — три месяца в постели. Пантомима — через пять недель.

Мисс Кенсингтон сидела в своей гримёрке над устрицами и плакала.

Не над Брэггом — Брэгга ей было жалко, она послала ему корзину с портвейном и цыплятами. Над театром. Двести шестнадцать фунтов долга. Пантомима без клоуна. Домовладелец обещал выселить к Пасхе, если не заплатят.

Это был конец. Она это знала.

— Ну что ж, — сказала она устрицам. — Ну что ж, Дороти. Значит — последняя. Значит — надо, чтобы последняя была лучшей.

* * *

Она назвала пантомиму «Арлекин и Снежная фея».

Она сама не знала, почему выбрала это название. Оно пришло ей в голову ночью, в постели, когда она складывала двести шестнадцать фунтов. Пришло — как приходят слова старой песни, которую слышал когда-то в детстве и думал, что забыл. «Арлекин и Снежная фея». Красиво. По-зимнему. По-рождественски. Снежинки, феи, ледяной дворец. Она решила — так.

Она не знала — или не помнила, — что пантомима с таким названием шла в Друри-Лейн в Рождество тысяча восемьсот двадцать третьего года. Что в кордебалете там танцевали двадцать девочек-снежинок в белых пачках. Что самой маленькой снежинке было восемь лет. И что на премьере этой пантомимы маленький клоун засмеялся — первый и последний раз в жизни.

Она не помнила.

Но театр помнил. Старое зеркало в позолоченной раме, которое висело за кулисами и которое мисс Кенсингтон купила в пятьдесят девятом на аукционе в Друри-Лейн, — «оно видело Кина и Гримальди!» — зеркало помнило.

Говорят, медь и стекло помнят всё. Говорят — помнят дольше людей.

* * *

Утром первого декабря мисс Кенсингтон собрала труппу на сцене и объявила:

— Дамы и господа! Пантомима! «Арлекин и Снежная фея»! Премьера — двадцать шестого, в Боксинг-дэй! Это будет лучшая пантомима в Лондоне! Лучше Друри-Лейн! Лучше Ковент-Гардена! Лучше, чем вы можете себе представить!

Труппа молчала. Труппа — это были двенадцать хористок, три танцора, два певца, четыре рабочих сцены, оркестр из шести человек и старый билетёр в ливрее, — и все они знали про двести шестнадцать фунтов. Весь Стрэнд знал.

— А клоун? — спросил кто-то из хористок. — Мэм? Брэгг-то — в постели.

Мисс Кенсингтон выпрямилась. Перо на парике качнулось.

— Клоун будет, — сказала она. — Найдём. Это Лондон, дорогая. В Лондоне клоунов больше, чем фонарей.

Это была неправда. Хороших клоунов в Лондоне было трое, и все трое были заняты — в Друри-Лейн, в Ковент-Гардене и в Хеймаркете. Плохих — сотни. Но плохой клоун в последней пантомиме — это хуже, чем никакого.

Мисс Кенсингтон сказала это так уверенно, что труппа поверила. Театр — это когда с той стороны улицы не отличить.

А вечером того же дня, в сумерках, когда все ушли и мисс Кенсингтон сидела одна в первом ряду пустого зала, слушая, как на сцене репетируют хористки, — из-за кулисы вышел человек.

Но об этом — в следующей главе.

Глава вторая. Труппа

Прежде чем рассказать о человеке с белым лицом, я должен рассказать о тех, кто в тот декабрь был в театре на Стрэнде. Потому что каждый из них сыграет свою роль — не в пантомиме, а в том, что случилось за ней.

* * *

Мистер Уильям Фэрроу, двадцати пяти лет, днём служил управляющим банка «Эшфорд и Ко» на Ломбард-стрит, а по вечерам — Арлекином.

Это случилось так. В сентябре мисс Кенсингтон, как каждый год, пришла в банк мистера Эшфорда — просить ссуду на пантомиму. Мистер Эшфорд принял её сам. Выслушал. Посмотрел цифры. И сказал: «Мисс Кенсингтон, я не дам вам ссуду. Я дам вам управляющего». И позвал Фэрроу.

— Мистер Фэрроу, — сказал он, — пишет стихи. Хорошие. Я читал. И, как мне известно, двадцать лет мечтает о театре. Пусть напишет вам пантомиму. Бесплатно. По вечерам. А банк — заплатит за декорации. Тоже бесплатно. Это не ссуда, мисс Кенсингтон. Это — вложение. В смех.

Мисс Кенсингтон сначала решила, что он сошёл с ума. Потом — что он гений. Потом прочла стихи Фэрроу — и решила, что гений — Фэрроу.

Фэрроу написал пантомиму за месяц. В стихах. Смешных и грустных. Про Арлекина, влюблённого в Коломбину, и про Снежную фею, которая заморозила их любовь, потому что сама никогда не любила, — и про клоуна, который случайно растопил фею, рассмешив её. А когда мисс Кенсингтон спросила, кто будет играть Арлекина, — Фэрроу покраснел до ушей, до длинной шеи, до горчичного шарфа, — и сказал: «Я».

Он не умел играть. Он не умел прыгать. Он не умел танцевать. Но он знал каждую строчку наизусть, потому что сам их написал, — и, когда он читал их со сцены, в костюме из ромбов, в чёрной полумаске, тонкий, бледный, с длинной шеей, — хористки переставали жевать пирожки и слушали.

Мать Фэрроу, кружевница с Юнион-стрит, связала ему для костюма воротник. Из лучшего кружева. Двойной резинкой — нет, кружево не вяжут резинкой, — но с узелком в углу. На счастье. Она сказала, что так делала одна вязальщица, давно, — и что на счастье это всегда помогало.

* * *

Мисс Летиция Фэрфакс, пятнадцати лет, золотоволосая, племянница сэра Амброуза Уиндема, — играла Коломбину.

Это был скандал. Юная леди из Белгрейвии, дочь вдовы с бриллиантами, внучатая племянница баронета, — на сцене. В пачке. Перед галёркой за шесть пенсов. Её мать, миссис Каролина Фэрфакс, узнав, упала в обморок. Дважды. Первый раз — в гостиной, второй раз — на лестнице, когда Летиция сказала, что всё равно будет. Сэр Амброуз, узнав, захохотал так, что выпал монокль, и сказал: «Каролина, в нашей семье давно пора кому-нибудь сделать что-нибудь интересное. Я — слишком толстый. Ты — слишком нервная. Пусть Летти». И мисс Пруденс Локвуд, гувернантка, — та, что вышла за него замуж в этом году, — поправила его: «Благоразумие, Амброуз, — это смелость, которая сначала подумала. Летти подумала. Пусть». И миссис Фэрфакс, очнувшись после второго обморока, взяла иголку и сама сшила дочери костюм Коломбины. Розовый. С блёстками. С кружевным воротником.

Летиция танцевала плохо. Но улыбалась — как Дороти Кенсингтон в восемь лет. Лучше всех.

* * *

Полли Пиклз, одиннадцати лет, играла Снежную фею.

Её выбрала сама мисс Кенсингтон. В октябре она пришла в приют на Тули-стрит — набирать детей для кордебалета, как каждый год, — и увидела во дворе девочку в красном капоре, которая играла с малышами в «кошки-мышки» и смеялась.

Мисс Кенсингтон остановилась. Послушала. Подошла.

— Как тебя зовут, деточка?

— Полли Пиклз, мэм. Я не приютская. Я в школе тут учусь, вольной ученицей. И помогаю мисс Пеннингтон с маленькими.

— Полли Пиклз, — сказала мисс Кенсингтон. — Этот смех, деточка, стоит дороже, чем вся моя ложа. Ты будешь феей. Феи должны смеяться, как колокольчики.

Полли сказала, что она не умеет играть. Мисс Кенсингтон сказала, что играть не надо. Надо смеяться. Полли сказала, что она не ест сладкого и, может быть, это помешает. Мисс Кенсингтон долго смотрела на неё, потом сказала, что сладкое в пантомиме — бутафорское, из картона, и есть его не надо. Полли подумала и согласилась.

Мать Полли, Марта, сначала не хотела. Театр — это не для девочек из Тэннери-корт. Отец Полли, Джо, сказал: «Марта, она смеётся лучше всех в Саутварке. Пусть смеётся за деньги». Мисс Кенсингтон платила феям четыре шиллинга в неделю. Для Пиклзов это была почти вся квартплата.

Марта согласилась.

* * *

Том Пиклз, пятнадцати лет, работал в театре рабочим сцены.

Его взяли на зиму, на восемь шиллингов в неделю. Дядя Тим сказал, что это хорошая школа — «за кулисами, Том, видно больше, чем в зале, а сыщику это главное». Том тянул верёвки, поднимал и опускал занавес, двигал картонные дворцы, сыпал с колосников бумажный снег. Он был длинный — выше всех рабочих сцены, — и ему доставались самые верхние балки.

Белая прядь у него надо лбом в декабре шестьдесят восьмого года — шевелилась. С первого дня. С первого декабря. С той минуты, когда на сцену вышел человек с белым лицом.

Том никому не сказал. Он знал, что, когда прядь шевелится, — говорить бесполезно. Надо ждать.

* * *

Тобиас Купер, четырнадцати лет, подмастерье бондаря, пришёл в театр сам.

Его не звали. Он пришёл на одну репетицию — посмотреть на Полли, — и остался. Мисс Кенсингтон увидела, как он держит молоток, и спросила, умеет ли он делать бочки. Тобиас сказал, что делает их год. Мисс Кенсингтон сказала, что в пантомиме нужна бочка — большая, для бутафорского снега, — и что мистер Брэгг, когда был здоров, падал в неё в последней сцене. Тобиас сделал бочку за три дня. Из обрезков у Лока. Большую. Крепкую. С надписью, выжженной гвоздём: «Для снега. Т. К.».

Мисс Кенсингтон поставила её у кулисы. И разрешила Тобиасу приходить. Без жалованья. «Подмастерье реквизитора».

Тобиас был счастлив.

* * *

И ещё — мистер Натаниэл Пим, семидесяти лет, билетёр.

Он стоял в фойе театра на Стрэнде двенадцать лет — с того дня, как мисс Кенсингтон купила театр. До этого — тридцать лет в Друри-Лейн. Сначала вызывальщиком, потом помощником режиссёра, потом билетёром. Он видел всех. Кина, Макриди, мадам Вестрис, Чарльза Мэтьюза. Гримальди.

Он был хромой — с детства, с тех пор как упал с колосников в Сэдлерс-Уэллс, — и ходил медленно, опираясь на трость. Ливрея на нём была старая, синяя, с потускневшим золотым галуном, — та самая, что выдали ему в Друри-Лейн в двадцать третьем году. Он берёг её

сорок пять лет. На носу — очки в железной оправе. Волосы — белые, редкие. Лицо — тихое, морщинистое, внимательное.

Он мало говорил. Он много помнил.

И в первый же день, когда на сцену вышел человек с белым лицом, — мистер Пим, стоявший в дверях зала с билетами в руке, — побледнел так, что билеты выпали у него из рук. И рассыпались по полу фойе, как снег.

Никто не заметил. Все смотрели на сцену.

Мистер Пим собрал билеты. Не спеша. Опираясь на трость. И ушёл в свою каморку под лестницей. И не выходил до вечера.

Он узнал. Сразу. С первого взгляда. Не лицо — лицо было под гримом. Походку. Наклон головы. Руки.

Он сорок пять лет назад открыл сундук в подвале Друри-Лейн. И видел эти руки. Сжимающие апельсин.

Интерлюдия. Два обморока в Белгрейвии

Чтобы читатель понял, чего стоило мисс Летиции Фэрфакс выйти на сцену театра Кенсингтон в розовой пачке, я должен рассказать о доме на Итон-сквер.

Это был дом из тех, о которых в Белгрейвии говорят «приличный»: четыре этажа белой штукатурки, портик с двумя колоннами (настоящими, каменными — в Белгрейвии деревянных колонн не бывает, там отличают с любой стороны улицы), чёрная лакированная дверь с медным молотком в виде львиной головы, швейцар, дворецкий, две горничные, кухарка, судомойка, кучер, грум и мальчик для поручений. В гостиной — рояль, на котором никто не играл, и портрет покойного мистера Фэрфакса, полковника гвардии, который никто не любил. В библиотеке — книги, которые никто не читал. В столовой — серебро, которое чистили каждый день.

И миссис Каролина Фэрфакс — вдова полковника, сорока двух лет, полная, добрая, в бриллиантах, с выражением вечного лёгкого удивления на лице, — которая больше всего на свете боялась двух вещей: того, что скажут соседи, и того, что её дочь станет похожа на дядю Амброуза.

Дядя Амброуз — сэр Амброуз Уиндем, баронет, дядя её покойного отца по матери, — был позором семьи. Он смеялся за столом. Он носил красные жилеты. Он рассказывал при дамах истории про снежную крепость в Кенте. Он подружился с банкиром, который усыновил двух сирот из приюта. Он женился — в этом году, в пятьдесят восемь лет! — на собственной гувернантке, бывшей воспитаннице работного дома. И он, страшно сказать, обожал Летицию и говорил ей, что жизнь — это пантомима, а кто в ней не играет — тот сидит в партере и скучает.

Летиция обожала его в ответ.

* * *

Ей было пятнадцать лет. У неё были золотые локоны, голубые глаза, маленький вздёрнутый нос и манера задавать вопросы, от которых гувернантки увольнялись. Их было шесть — до мисс Локвуд. Первая ушла, когда Летиция в семь лет спросила её, почему у Бога нет жены. Вторая — когда Летиция в восемь спросила, почему горничные спят в подвале, а собака — в гостиной. Третья, четвёртая и пятая — по разным, но похожим причинам. Шестая — мисс Пруденс Локвуд — не ушла. Она ответила на все вопросы. Даже про жену Бога. А потом вышла замуж за дядю Амброуза и ушла сама. Летиция плакала три дня.

Летиция с детства носила в муфте хлеб. Это была её тайна. Каждое утро она тайком брала на кухне две горбушки, заворачивала в салфетку и прятала в меховую муфту — белую, горностаевую, подарок дяди на Рождество. А когда её возили в карете по Лондону — к портнихе, к зубному врачу, в церковь Святого Петра на Итон-сквер, — она отдавала хлеб в окно кареты. Детям. Которые бегали за каретами по Белгрейвии в надежде на пенни. Мать не знала. Кучер — знал. Кучер молчал. Кучер сам был из Ист-Энда.

В шестьдесят пятом, на рождественском спектакле в театре Кенсингтон, куда её привёз дядя Амброуз, Летиция подружилась с девочкой из приюта. С Джейн Пеннингтон — той, что играла Снежную королеву. Джейн была старше на год и серьёзнее на десять лет. Летиция учила её танцевать — в антрактах, за кулисами. Джейн учила её штопать носки. Это была странная дружба. Мать не знала и о ней.

А мисс Кенсингтон — заметила. Девочку в голубом бархате, которая в антрактах танцевала за кулисами с сиротой. И запомнила.

* * *

В октябре шестьдесят восьмого мисс Кенсингтон написала письмо. На бланке театра. Миссис Фэрфакс, Итон-сквер.

«Мадам. В рождественской пантомиме "Арлекин и Снежная фея" в моём театре есть роль Коломбины. Я ищу для неё девушку, которая умеет улыбаться так, чтобы галёрка забывала, что у неё нет ужина. Три года назад я видела такую улыбку у Вашей дочери. Если Вы позволите ей сыграть — я буду счастлива. Если нет — пойму. Жалованья не предлагаю, ибо понимаю, что дочь полковника Фэрфакса не нуждается в моих шиллингах. Предлагаю сцену. С уважением, Д. Кенсингтон».

Миссис Фэрфакс прочла письмо за завтраком.

И упала в обморок.

Это был первый обморок. Он случился в столовой, между почками на тостах и вареньем из айвы. Миссис Фэрфакс сползла со стула на ковёр — медленно, с достоинством, как падают в обморок в Белгрейвии, — и лежала там, пока дворецкий не принёс нюхательную соль, а горничная — подушку.

Летиция подобрала письмо с ковра. Прочла. И сказала — вслух, громко, пока мать ещё лежала с закрытыми глазами:

— Я буду.

Миссис Фэрфакс открыла глаза.

* * *

Второй обморок случился через полчаса. На лестнице.

Миссис Фэрфакс, придя в себя после первого, поднялась в будуар — «прилечь», — и на полпути, на площадке второго этажа, у портрета покойного полковника, остановилась, потому что Летиция догнала её и сказала:

— Мама. Я буду играть Коломбину. Всё равно. Даже если ты запретишь.

— Летиция! — сказала миссис Фэрфакс. — Дочь полковника гвардии! На сцене! В пачке! Перед — перед — перед галёркой!

— Перед галёркой, — сказала Летиция. — Там самые лучшие зрители, мама. Дядя Амброуз говорит. Они смеются громче всех, потому что за шесть пенсов надо насмеяться на шесть пенсов.

— Дядя Амброуз! — сказала миссис Фэрфакс.

И упала в обморок во второй раз. Прямо на площадке. У портрета полковника. Который смотрел на неё сверху с выражением человека, которого никто не любил.

Летиция села рядом. На ступеньку. Подождала. Дворецкий принёс соль. Горничная — подушку. Миссис Фэрфакс открыла глаза.

— Мама, — сказала Летиция. Тихо. Не как пятнадцатилетняя. — Мама, я всю жизнь сижу в карете. Я сижу в карете — а они бегут за каретой. Дети. Я им даю хлеб. В окно. Я никогда не была с ними рядом. Никогда. Только через окно кареты. — Она помолчала. — А в театре — я буду на сцене, а они — на галёрке. И я буду для них. Не через окно. Для них. Понимаешь? Я хочу хоть раз в жизни сделать что-нибудь не через окно.

Миссис Каролина Фэрфакс, вдова полковника, сорока двух лет, лежала на площадке второго этажа своего дома на Итон-сквер, на подушке, принесённой горничной, — и смотрела на дочь.

Она не знала про хлеб в муфте. Пятнадцать лет — не знала.

— Хлеб? — сказала она. — В окно?

— Каждый день, мама. С семи лет.

Миссис Фэрфакс смотрела на неё долго. Потом — не спеша — села. Поправила чепец. Посмотрела на портрет полковника. Полковник смотрел мимо.

— Твой отец, — сказала она, — никогда не дал бы нищему ни пенни. Он говорил — это поощряет порок. Я двадцать лет ему верила. — Она помолчала. — А мой дядя Амброуз — давал. Всегда. По шиллингу. И смеялся. И мне было стыдно. За дядю.

— А теперь?

Миссис Фэрфакс не ответила. Она встала. Опираясь на перила. И пошла не в будуар — вниз. В гостиную. Где стоял рояль, на котором никто не играл. Где в шкатулке лежали её швейные принадлежности, которых она не касалась двадцать лет, — с тех пор как вышла замуж и у неё появилась модистка.

Она открыла шкатулку.

— Коломбина, — сказала она, не оборачиваясь. — Розовое. С блёстками. И с кружевным воротником. Кружево я возьму от своего подвенечного платья. Оно двадцать лет лежит в сундуке. Пусть хоть раз выйдет на сцену.

Летиция стояла в дверях гостиной. И не могла сказать ни слова. Первый раз в жизни.

* * *

Миссис Фэрфакс шила костюм три недели. Сама. По вечерам. Исколола все пальцы — она разучилась держать иглу. Распарывала и шила заново. Дважды. Горничные шептались в подвале. Дворецкий молчал. Кучер — улыбался.

Сэр Амброуз, узнав, захохотал так, что выпал монокль, и сказал жене — бывшей мисс Локвуд:

— Пруденс! Каролина шьёт! Сама! Каролина, которая падает в обморок от слова «панталоны»! Это конец света! Нет — это начало!

Леди Уиндем — прямая, как линейка, в сером шёлке — поправила его:

— Благоразумие, Амброуз, — это смелость, которая сначала подумала. Каролина подумала. Двадцать лет. Теперь — смелость.

А в Боксинг-дэй, на премьере, миссис Фэрфакс сидела в средней ложе — в бриллиантах, с нюхательной солью в руке, — и смотрела, как её дочь, в розовом, с блёстками, с кружевным воротником от подвенечного платья, — танцует. Плохо. Но улыбается так, что галёрка забывает, что у неё нет ужина.

Миссис Фэрфакс не упала в обморок ни разу. За весь вечер.

Она уронила нюхательную соль. Когда Тобиас полетел в бочку. И засмеялась. Громко. Так, как не смеялась двадцать лет — с тех пор, как вышла за полковника.

Сэр Амброуз посмотрел на неё через монокль. И сказал жене:

— Пруденс. Запиши дату. Каролина засмеялась.

— Записала, Амброуз, — сказала леди Уиндем. И — впервые за всё время, что сэр Амброуз её знал, — засмеялась тоже.

Глава третья. Человек с белым лицом

Первого декабря тысяча восемьсот шестьдесят восьмого года, в половине пятого вечера, в сумерках, мисс Дороти Кенсингтон сидела одна в первом ряду партера пустого театра и слушала, как на сцене поют хористки.

Они пели «Песню снежинок» — Фэрроу написал её за ночь, — нестройно, вразнобой, как поют уставшие девушки в конце долгого дня. Рампа горела вполнакала — газ берегли. Зал тонул в полутьме: ряды пустых кресел, ложи с бархатными барьерами, галёрка под самым потолком, тёмная, как чердак. Пахло пылью, газом, клеем и апельсинами — кто-то из рабочих сцены ел апельсин за кулисами.

Мисс Кенсингтон не слушала. Она думала о клоуне.

Она обошла сегодня весь Лондон. Друри-Лейн — их клоун занят. Ковент-Гарден — занят. Хеймаркет, Адельфи, Олимпик, Лицеум — заняты или плохие. Она была в балаганах на Ламбет-Марш, в мюзик-холле на Эджвер-роуд, в цирке Астли. Она видела двадцать клоунов. Восемнадцать из них были пьяны. Двое — трезвы и бездарны.

Двести шестнадцать фунтов. Пять недель. Без клоуна.

Мисс Кенсингтон закрыла глаза.

И тут хористки замолчали.

Не допели — замолчали посреди слова. Разом. Как обрывается нитка. Мисс Кенсингтон открыла глаза.

На сцене стоял человек.

* * *

Никто не видел, как он вошёл. Это потом подтвердили все — хористки, рабочие, оркестранты, мистер Пим в фойе. Двери театра были заперты: мисс Кенсингтон заперла их сама, в четыре, чтобы не лезли с улицы попрошайки. Служебный вход — тоже. Окна — высоко, под потолком, с решётками. Человек не входил. Он просто вышел из-за левой кулисы — оттуда, где за кулисами, в глубине, висело старое зеркало в позолоченной раме, — на свет рампы. И встал посреди сцены. И поклонился.

Он был длинный и тонкий, как жердь, — выше всех хористок на голову, — и казался ещё выше из-за того, что был очень худ. На нём было трико в разноцветных ромбах — красных, жёлтых, синих, зелёных, — старое, выцветшее, кое-где заштопанное. На голове — рыжий хохолок, торчащий вверх, как пламя свечи. На ногах — огромные красные башмаки с загнутыми носами.

А лицо было белое.

Не бледное — белое. Как мел. Как бумага. Как снег. Ровно, густо, без единой морщинки, без единой поры — белое, как будто его покрасили известью. На щеках — два красных треугольника, остриём вниз. Брови — нарисованные, чёрные, высокие, удивлённые. А рот — красный. Нарисованный красной краской от уха до уха. Огромная улыбка. Застывшая. Неподвижная. Как у куклы.

Классический грим «джоуи». Такой носил Гримальди. Такой носили все клоуны Англии последние шестьдесят лет. Мисс Кенсингтон видела его тысячу раз.

Но этот был другой. Она не сразу поняла чем.

Потом поняла. Под этим гримом ничего не двигалось. У любого клоуна под гримом двигается лицо — моргают глаза, шевелятся щёки, дрожит подбородок, — и грим вместе с лицом. А у этого — не двигалось. Белое оставалось белым. Красное — красным. Улыбка — улыбкой. Как маска. Точно грим не на лице, а и есть лицо.

Только глаза двигались. Светлые, почти белые, — как лёд.

— Джозеф Пипер, мэм, — сказал человек.

Голос у него был тихий. Вежливый. Неожиданно тонкий для такого длинного тела — почти мальчишеский. И странно далёкий, как будто доносился не со сцены, а откуда-то из глубины, из-за кулис, из-за зеркала.

— Клоун. Ищу место на Рождество.

* * *

Мисс Кенсингтон открыла рот, чтобы сказать: «Как вы вошли?», — и не сказала. Потому что человек на сцене, не дожидаясь ответа, достал из рукава три шара.



Человек с белым лицом пришёл наниматься

Цветных. Красный, жёлтый и синий. Размером с апельсин. Деревянных, крашеных, — обычные жонглёрские шары, какие продают в лавках на Лонг-Эйкре по шиллингу за дюжину.

И стал жонглировать.

Он жонглировал так, как мисс Кенсингтон не видела никогда. Ни у Гримальди, ни у Мэтьюза, ни у итальянцев в Астли. Шары летали у него над головой, как птицы — не по кругу, как у всех, а как-то по-своему, вразнобой, точно сами решали, куда лететь, а он только подставлял руки. Красный — вверх, высоко, под самые колосники. Жёлтый — за спину. Синий — между ног. Красный падал — он ловил его носком башмака и подбрасывал снова. Жёлтый — головой. Синий — локтем.

Хористки ахнули.

А потом он споткнулся.

О собственную ногу. Огромный красный башмак зацепился за другой огромный красный башмак — и человек полетел. Медленно. Растопырив руки. Через всю сцену. С таким изумлённым, таким обиженным выражением нарисованного лица, — брови вверх, рот до ушей, глаза круглые, — что хористки прыснули ещё до того, как он упал.

Он упал. Плашмя. На спину. Бум.

А шары — все три — упали ему на голову. Один за другим. Бум. Бум. Бум.

Он сел. Посмотрел на шары. Потом в зал — на мисс Кенсингтон. Неторопливо. Как смотрит человек, который не понимает, за что с ним так. Огромные белые глаза. Нарисованная улыбка. И рыжий хохолок, который от удара шарами сплющился и теперь торчал вбок.

Хористки на сцене повалились друг на друга от смеха. Рабочие сцены за кулисами хохотали, держась за верёвки. Оркестранты в яме — один уронил скрипку.

А мисс Дороти Кенсингтон, пятидесяти трёх лет, сидевшая в первом ряду, — расхохоталась так, что у неё с парика слетело страусовое перо. И упало ей на колени. И она смеялась, глядя на перо, — и на человека на сцене, который сидел среди шаров с обиженным белым лицом, — и смеялась ещё сильнее.

Она смеялась так первый раз за три года.

— Беру! — закричала она сквозь смех. — Беру! Беру! Два фунта в неделю! Нет — три! Вы гений, мистер Пипер! Гений!

* * *

Мистер Пипер встал. Отряхнулся. Подобрал шары. Поклонился — низко, старомодно, как кланялись клоуны в начале века, — до самого пола.

Нарисованная улыбка не шевельнулась.

А глаза — светлые, почти белые, — смотрели не на мисс Кенсингтон. И не на хористок. И не на рабочих сцены. Они смотрели на зал. На пустые кресла. Как будто считали.

Полли Пиклз стояла за правой кулисой.

Она пришла рано — на примерку костюма феи, — и заблудилась за кулисами среди верёвок и декораций, и вышла как раз тогда, когда человек с белым лицом поклонился. Она видела всё. Как он жонглировал. Как упал. Как все смеялись.

Она не смеялась. Ей было смешно — очень. Но она не смеялась. Она сама не знала почему. Может быть, потому, что видела его глаза. Вблизи. С двух шагов. И глаза у него не смеялись. Совсем. Они были как у человека, который смотрит на чужой праздник через окно.

А потом она увидела шары.

Три шара в его руках. Красный, жёлтый, синий. Деревянные, крашеные. Обычные.

Они светились.

Слабо-слабо. Изнутри. Как свечка за занавеской. Как фонарь в тумане. Красный — красным. Жёлтый — жёлтым. Синий — синим.

Они не светились, когда он жонглировал. Полли была уверена — не светились. Они засветились после. Когда все засмеялись.

Мистер Пипер посмотрел на шары. Потом — медленно, точно почувствовал её взгляд, — повернул голову. Направо. За кулису. На Полли.

Белое лицо. Красная улыбка. Ледяные глаза.

Полли не отвела взгляда.

Мистер Пипер смотрел на неё долго. Потом — едва заметно — наклонил голову. Как будто поклонился. Ей одной.

И пошёл со сцены налево. За кулису. Туда, где в глубине висело старое зеркало в позолоченной раме.

* * *

Мисс Кенсингтон дала ему гримёрку. Ту, что в конце коридора, за кулисами, — маленькую, тёмную, без окна, где раньше хранили старые декорации. Мистер Пипер сказал, что ему больше не нужно. Что он привык к маленьким.

Он попросил одну вещь. Сундук. Старый. Большой. Дубовый, если найдётся.

Сундук нашёлся. В подвале театра стоял старый костюмный сундук, который мисс Кенсингтон купила вместе с зеркалом на аукционе в Друри-Лейн, в пятьдесят девятом году. «Лот 47. Сундук костюмный, дуб, окован железом, нач. XIX в. Принадлежал труппе Т. Р. Друри-Лейн». Он стоял в подвале девять лет. Пустой. Мисс Кенсингтон о нём забыла.

Рабочие подняли его наверх. В гримёрку мистера Пипера. Мистер Пипер положил ладонь на крышку — и долго держал. Длинную, тонкую, белую ладонь. Потом сказал: «Спасибо». И закрыл дверь.

В ту ночь Том Пиклз, который последним уходил из театра, — гасил газ в коридоре за кулисами. И проходил мимо двери гримёрки мистера Пипера.

Из-за двери не доносилось ни звука. Ни шагов, ни кашля, ни скрипа.

Только — тихо-тихо, так, что Том не был уверен, слышит ли он это или ему кажется, — смех. Тонкий, звонкий. Не один голос — много. Точно там, за дверью, в маленькой тёмной гримёрке без окна, — смеялись хористки, и рабочие, и оркестранты, и мисс Кенсингтон. Тот самый смех. Сегодняшний. Только далёкий. Как из-под воды.

Белая прядь у Тома надо лбом шевельнулась.

Он погасил последний рожок и ушёл. Быстро. Не оглядываясь.

А мисс Кенсингтон в тот вечер, в своей гримёрке, над устрицами, — впервые за три года не смогла засмеяться. Она вспомнила, как смеялась днём, над шарами, над пером, — и хотела засмеяться снова, просто так, от радости, что нашла клоуна, — и не смогла. Улыбнулась. А смеха — не было.

Она решила, что устала.

Глава четвёртая. Шары

Репетиции шли каждый день — с десяти утра до шести вечера, а в последнюю неделю и до полуночи, — и каждый день мистер Джозеф Пипер был лучшим клоуном, какого видел Стрэнд.

Он не опаздывал. Он не пил. Он не спорил с мисс Кенсингтон о тексте и не требовал прибавки. Он приходил — точнее, выходил из своей гримёрки в конце коридора, потому что никто никогда не видел, как он входит в театр, и никто никогда не видел, как он уходит, — ровно в десять, в своём трико с ромбами, в рыжем хохолке, с белым лицом. Становился на своё место. И делал то, что требовалось. А потом — то, что не требовалось. То, чего никто не ждал.

Он падал с лестницы — и не ушибался. Падал так, что хористки вскрикивали от ужаса, — с самой верхней ступеньки, вниз головой, — и в последний миг, у самого пола, переворачивался, как кошка, и садился на пол, скрестив ноги, с таким видом, будто так и собирался. Он крал сосиски у бутафорского полисмена — так ловко, что сам полисмен (его играл рабочий сцены по фамилии Дэггет, толстый и добродушный) не замечал, а потом искал их по всей сцене, а сосиски оказывались у него же в шлеме. Он садился на торт — на настоящий, с настоящим кремом, по контракту, — и крем летел так правдиво, что первый ряд, где на репетиции сидела мисс Кенсингтон, приходилось вытирать. Он прятался в барабане оркестра — и барабанщик, не зная, бил в барабан, — и из барабана доносилось обиженное «Ой!» на каждый удар, в такт.

Все смеялись.

Хористки — до слёз, до икоты, до того, что падали друг на друга. Рабочие сцены — держась за верёвки. Оркестранты — роняя смычки. Танцоры. Певцы. Фэрроу в костюме Арлекина — тихо, прикрывая рот рукой, по-банковски. Летиция Фэрфакс — звонко, запрокинув голову, по-белгрейвски.

И дети.

* * *

Детей на репетициях было много. Мисс Кенсингтон набрала двадцать для кордебалета — снежинки, гномы, ледяные пажи, — из приюта на Тули-стрит и из Саутварка. Плюс их братья и сёстры, которые приходили посмотреть. Плюс дети рабочих сцены. Плюс — после того как по Стрэнду пронёсся слух, что в театре Кенсингтон завёлся клоун, лучше Гримальди, — мальчишки с улицы, которые пролезали через служебный вход, через окно в подвале, через люк на крыше, и сидели на галёрке, тихо, как мыши, пока их не выгоняли. Мисс Кенсингтон их не выгоняла. Она говорила, что галёрка — это совесть театра. Если галёрка смеётся — значит, смешно.

Галёрка смеялась.

Близнецы Сэм и Сид Пиклзы пришли на третий день. Тобиас Купер привёл их — «посмотрите на клоуна, бочек двадцать смеха!». Они сидели на галёрке и хохотали так, что их было слышно на сцене. Одинаково. В один голос.

Дети из приюта — Мэри Энн Доусон, Нэт Бёрч, малыш Билли Флинт, которого прошлой зимой констебль Уоттс отогрел у костра под аркой, — смеялись на каждой репетиции. Дети с Тули-стрит. Дети с Минт-стрит. Дети из Бермондси. Сорок, пятьдесят детей каждый день.

А после каждой репетиции мистер Пипер уходил в свою гримёрку. В конце коридора. И запирал дверь.

И из-за двери — Том это слышал каждый вечер, гася газ, — доносился смех. Далёкий. Как из-под воды.

* * *

Полли Пиклз заглянула в замочную скважину на шестой день.

Ей не велели. Мать не велела — «не лезь куда не надо, Полли». Мисс Кенсингтон не велела — «к мистеру Пиперу без стука не входить, он нервный, у гениев нервы». Том не велел — «Полли, не лезь. Прядь шевелится. Я подумаю».

Но Том думал уже шесть дней. А Полли — не могла больше ждать.



Шары летали над сценой — красные, жёлтые, синие

Она подождала, пока репетиция кончится и все разойдутся. Спряталась за декорацией ледяного дворца — картонной, раскрашенной серебром. Подождала, пока Том погасит газ в коридоре и уйдёт. Подождала ещё. В темноте. Слушая, как стучит сердце.

Потом на цыпочках пошла по коридору к гримёрке в конце.

Под дверью — полоска света. Слабого. Не жёлтого, как от свечи или газа, — разноцветного. Красного, жёлтого, синего, зелёного. Как будто за дверью — витраж, подсвеченный с той стороны.

Полли присела. Прижалась глазом к замочной скважине.

* * *

В гримёрке было темно. Ни свечи, ни газа, ни лампы.

И всё-таки — светло.

Свет шёл от пола. Вдоль стены, на полу, ровными рядами, как яблоки на прилавке, — лежали шары. Разноцветные. Жонглёрские. Красные, жёлтые, синие, зелёные, белые, розовые. Десять. Двадцать. Тридцать. Полли не смогла сосчитать — их было много, и они были разного размера: одни — с апельсин, другие — с вишню, третьи — с голубиное яйцо.

И каждый светился изнутри. Как фонарик. Как светлячок. Как свечка за цветной бумагой.

А посреди гримёрки, на сундуке — огромном, дубовом, окованном железом, — сидел мистер Пипер.

Он сидел, ссутулившись, длинный, тонкий, в трико с ромбами. Белое лицо. Красная улыбка. И держал в руках шар. Маленький. Голубой. Светящийся.

Он поднёс шар к уху. И слушал.

И Полли — через замочную скважину, через темноту, через три шага коридора, — услышала. Из шара доносился смех. Тонкий. Звонкий. Детский. Знакомый.

Это был смех Мэри Энн Доусон. Девятилетней сироты из приюта. Полли знала этот смех — она слышала его каждый день, в приютской школе, когда помогала мисс Джейн с маленькими. Мэри Энн смеялась так, будто внутри у неё звенел колокольчик с трещинкой: звонко, но немного дребезжа.

Мистер Пипер слушал этот смех. Держа шар у уха. Долго.

И нарисованная улыбка на его лице не шевелилась.

Но из глаз — из светлых, почти белых, — текло. По белому гриму. По красным треугольникам. Не смывая их. Как вода по стеклу.

Он плакал. Слушая чужой смех.

Полли отпрянула от скважины. Сердце у неё стучало, как барабан, в котором прятался клоун.

Она пошла назад по тёмному коридору. Медленно. На цыпочках. И, проходя мимо старого зеркала в позолоченной раме, — висевшего за левой кулисой, мутного по краям, — машинально посмотрела в него.

В зеркале отражался коридор. Тёмный. И дверь гримёрки в конце. А под дверью — разноцветная полоска света.

И ещё — у двери, внутри, в отражении, — сидел на полу мальчик. Маленький. Рыжий. В рваном трико. Обхватив колени. Прислонившись к двери спиной. И держал у уха голубой шар.

Полли обернулась.

У двери гримёрки никого не было. Коридор был пуст.

Она посмотрела в зеркало снова. Мальчика не было тоже. Только коридор. И полоска света под дверью.

Полли Пиклз, одиннадцати лет, вышла из театра на Стрэнд и побежала через весь Лондон, через мост, через Саутварк, домой, в Тэннери-корт. Не останавливаясь. Не оглядываясь.

Дома она легла на свой тюфяк у окна, рядом с Энни, и долго не спала.

Она думала о голубом шаре. О смехе Мэри Энн Доусон с трещинкой. О белом лице, по которому текли слёзы, не смывая грим.

И о том, что, если смех Мэри Энн — там, в шаре, в гримёрке на Стрэнде, — то где тогда Мэри Энн?

Утром она узнала.

Мэри Энн Доусон, девяти лет, проснулась в приюте на Тули-стрит, оделась, умылась, съела кашу — и не смеялась. Мисс Джейн Пеннингтон показала ей на уроке смешную картинку в книжке: свинья в шляпе. Мэри Энн улыбнулась. Без звука.

— Мэри Энн, — сказала Джейн. — Тебе не смешно?

— Смешно, мисс, — сказала Мэри Энн. — Очень. Только не смеётся. Внутри смешно, а наружу — не выходит. Точно там пусто.

Интерлюдия. Сорок пять лет

По ту сторону инея время идёт назад. Я говорил об этом в каждой книге и скажу ещё раз, потому что это важно: тот, кто прожил там сорок пять лет, не стал старше. Он стал младше. На столько, на сколько становится младше человек, который всё время вспоминает.

Джоуи Пипер прожил там сорок пять лет — и остался двенадцатилетним. В трико с ромбами. В белом гриме. С апельсином.

* * *

Он проснулся в серебряном сундуке.

Это было первое, что он увидел, открыв глаза: крышка сундука над головой — не дубовая, а серебряная, светящаяся изнутри тихим голубым светом, как светится снег в лунную ночь. Он лежал в бархате и перьях — тоже серебряных. И ему было тепло.

Он откинул крышку. Сел.

Вокруг был подвал Друри-Лейн. Тот же. Сундуки, вешалки, корзины с костюмами, бочка у двери. Только серебряный. Тихий. Без запахов. Без звуков. И дверь — открыта.

Он вылез из сундука. Апельсин был у него в руке — тоже серебряный. Он поднялся по лестнице. В коридор. На сцену.

Сцена Друри-Лейн — огромная, на сорок ярдов в глубину, — была пуста. Серебряная. Рампа горела голубым огнём. Зал — тысячи кресел, четыре яруса лож, галёрка под потолком — был пуст. И тих. Ни одного зрителя.

Джоуи вышел на середину сцены. Встал. Поклонился. Пустому залу. Как учил Скарлетт.

Зал молчал.

Джоуи подождал. Потом сел на край сцены, свесив ноги в оркестровую яму. И стал ждать, когда кто-нибудь придёт.

Никто не пришёл.

* * *

Через несколько лет — он не знал сколько, здесь нельзя было понять, — он научился ходить по серебряному Лондону.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.